

Яков Евглевский

СЕРДЦЕ ВНАЁМ



Яков Евглевский
Сердце внаём

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Евглевский Я. Н.

Сердце внаём / Я. Н. Евглевский — «Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906910-04-2

Роман «Сердце внаём» посвящен тонким проблемам психологии – как медицинской, так и общечеловеческой. На его страницах рассказывается об относительно молодом мужчине с врожденным пороком сердца – человеке, который вынужден согласиться на пересадку главного телесного «мотора». И с момента своей «поправки» слабый, морально ущербный инвалид (выражаясь языком старинной притчи, «мышь») ощутил себя чуть не суперменом, «львом». Но на деле оказался калифом на час. Успевшим, однако, погубить любимую женщину и попасть затем в тюремную больницу. Книга написана как бы на английском бытовом материале, но подспудно отражает коллизии прошлой и современной России. Основная идея романа проста: в любом случае оставайся самим собой, не стремись слишком высоко, не расширяй, как говаривали древние эллины, своей судьбы.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906910-04-2

© Евглевский Я. Н., 2017

© Алетейя, 2017

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

26

Яков Евглевский

Сердце внаём

© Я. Н. Евглевский, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

* * *

Сторож лежал возле развороченного надгробия, ухватившись одной рукой за ножку скамейки и сжимая другой старенький винчестер. Кепка съехала на лоб, сомкнутые веки нервно подрагивали, а на виске виднелся свежий кровоподтек. Рядом, у его ног, лежал виновник происшествия – худенький, щупловатый мужчина в очках, даже в обмороке судорожно глотавший воздух. Патрульная овчарка, побрезговав калиткой, перемахнула через ограду и настороженно застыла между двух безмолвных тел. Потом пряданула ушами и по какому-то непонятному наитию, еще не получив приказа, подошла к виновному и цепко схватила его зубами за полу плаща...

Обо всем этом я узнал позже, спустя несколько дней, во время допроса помощников сторожа – двух парней-студентов, подрабатывавших ночными охранниками на городском кладбище. Полученные впечатления были, видимо, сильнейшими в их жизни, потому что рассказывали они подробно, волнуясь, перебивая друг друга и не стесняясь спорить у стола следователя. Благополучно восставший с одра старик-сторож подтвердил сказанное. Но слова померкли перед картиной могилы, на которой, по моей просьбе, все оставили нетронутым – в том виде, как в день происшествия. Рождалась мысль, что здесь прошились специалисты по очищению саркофагов в пирамидах, до того капитально и безжалостно был разобран памятник. Вокруг валялись принесенные из дома инструменты, что говорило о тщательной подготовке преступления. Казалось, нарушитель учел любые мелочи. Одно только поразило нас всех в полиции – обильно разбросанные по могиле гвозди. Их было много, гвоздей, причем самых разных диаметров. Скорее всего, они просыпались из газетного кулька в момент короткой схватки. Но назначение их – при всей мелочности детали – оставалось тайной, которую мог раскрыть лишь злоумышленник, находившийся в тюремной больнице в состоянии глубокого шока. И расследование этакого-то дела было поручено мне...

Мои записки я предусмотрительно начал *ab ovo*¹ и считаю, что это единственно правильный путь. Ведь у меня сейчас масса досуга: я в отпуске в Приморских Альпах после трехмесячного лечения в психиатрической клинике, куда попал по окончании сего странного следствия. Отдыхаю очень хорошо – спокойно и грустно. Со мною вместе жена и сын (он занят: штудирует книжки – на будущий год поступает в школу). Меня никто не тревожит. Да никто и не знает адреса, кроме шефа – генерала Лоттвика, моего непосредственного начальника по службе. Он звонит нам из Лондона раз в неделю и спрашивается о моем самочувствии. Разговаривает с ним жена. Я смирился, хотя до болезни возражал: она нравится ему, и он, с военной прямоотой, не скрывает своих симпатий. Но я знаю мою жену – она не заставит меня расстраиваться сверх того, что мне уже пришлось пережить. «Тебе нужны покой и полное отключение!» По этой-то причине я беседовал с Лоттвиком всего один раз – неполную минуту, и надо мной неусыпно бдела Катрин, следившая, чтобы разговор не отклонялся от тем самочувствия, погоды и планировки корта.

Например, сейчас, когда я набрасываю мои заметки, она занята приготовлением обеда («никаких макдональдсов – там один перец»), сынишка возится с «Конструктором». Мне

¹ С самого начала (лат.).

кроме обеда полагается еще добавка: земляника со сливками. То есть полагается-то она всем, но я видел, как жена и сын дружно ссыпали свои порции в мое блюдо, оставив себе по несколько ягод. Я, конечно, протестовал, отказывался, но... «Тебе нужнее!» Земляники немного, куплена она сегодня на рынке по мародерской цене. Нет, чего там, не в деньгах загвоздка, они у меня есть, просто мы проспали утром и пришли к шапочному разбору. Хозяйка только что закончила извиняться за то, что не разбудила вовремя...

Вот я и пишу, ибо другого дела нет. Пишу обстоятельно и дотошно, словно возвращаюсь к узелкам той уже далекой и ускользнувшей из рук ниточки, за которую я держался, идя к цели. Знакомый, посоветовавший мне засесть за эту повесть (если его можно назвать знакомым), рекомендовал писать неторопливо, вдумываясь в малейшие детали, схватывая ничтожные подробности. «Когда речь идет о психологии, – поучал он, – нет ничего несущественного!» Он очень умный, образованный человек, и я стараюсь неуклонно следовать его менторским советам. Жена была поначалу против моих записок, боясь, что они разбередят старую рану, но он побеседовал с нею, и Катрин согласилась. Такова сила его воздействия – редко кто может противиться ей. Действительно: если я поправился по-настоящему, то мне не страшны никакие воспоминания, а если они страшны, то, значит, меня рано еще было выписывать из больницы. Кстати, именно он подал нам мысль уехать в Альпы, и мы с удовольствием ухватились за нее. А договаривалась о месте отдыха жена через своих родственников. Так что все мои нынешние обстоятельства есть плод в общем-то чужого авторства...

Сегодня мне удалось добиться некоторой «режимной» поблажки – всей семьей пошли ужинать в ресторан. Я истосковался по людскому скоплению, хотя прежде не тянулся к нему. Но теперь мягкий свет, вышколенные официанты, изящная сервировка, оркестр, игравший на заказ и что-то свое, чаще всего арию Купидона из «Фигаро», увлекли меня чем-то праздничным и легкодумным – тем, что может дать суетное общение с людьми. Я, наслаждаясь после долгого заключения, откидываюсь на спинку стула и закурываю разрешенную сигарету. Жена отвлекается от сцены и сообщает мне спокойно, без нажима: «Знаешь, когда ты в обед спал, опять звонил наш лорд. Сегодня – его день». Это не шутка: Лоттвик на самом деле лорд, хотя Катрин и говорит иронически. «Сколько же минут он заказал?» – интересуюсь я. – «Пятнадцать». – «Не жалко денег, чтобы столько беседовать с простолюдинами?» Молчит. Сошурившись, рассматривает меню и делает вид, что не слышит. Я улыбаюсь. Мы все улыбаемся. Даже сынишка (до чего быстро взрослеют дети!) смотрит на мать с хитрецей. – «Ну, и что он выяснял?» – «Как обычно: что, когда, как?» – «И?..» – «И я сказала, что тебе еще нужен отдых?» – «Умница», – одобряю я и целую ее. – «А он?» – «Он ответил: пусть набирается сил, место за ним забронировано, мы сотрудниками не бросаемся». – «Ты у него что-нибудь спрашивала?» – «Да, так, из вежливости: погода, внуки, печень...» Интересно, как пожилой мужчина беседует с молодой дамой о своей печени? Я задаюсь таким вопросом про себя, а вслух говорю: «А про это ты у него спрашивала?» – «Спрашивала». – «Ну и?..» – замираю я. – «Гарри, – обращивается она ко мне, – по нашему контракту разговоры о делах воспрещены». – «Твоя правда», – сникаю я и тушу сигарету.

А ужин отменный! Все вкусно и пряно – как будто с домашней плиты. С некоторых пор я питаю пристрастие к кулинарии – не в смысле, конечно, рецептуры, а в смысле названий: их я знаю множество. Пододвигая к себе эмалированную латочку, я по запаху мгновенно узнаю пудинг по-шведски. От него терпко щекочет в ноздрях, да, признаться, и не в одних ноздрях... «Катрин, – осторожно выпытываю я, – ты умеешь делать пудинг по-шведски?» – «Нет, – признается она, – не умею». – «А что бы ты приготовила, если бы хотела меня увлечь?» – «Тебе хочется, чтобы я научилась готовить пудинг по-шведски? – отвечает она вопросом. – Хорошо, я перепишу рецепт».

Между тем сцена дарит одну мелодию за другой. Похоже, эти бродячие музыканты, приехавшие из центра на летний сезон, хотят устроить своеобразный фестиваль танца: от вальса

до рока. На просцениуме кружатся первые парочки. Моя жена отлично танцует – в институте она занималась в бальной группе. Впрочем, не хуже справляется и с современными ритмами. Когда она выходит в круг, редко кто не залюбуется ею. Ага, вот уже к нашему столику пробирается кавалер, и, как водится, военный. Катрин бросает на меня греховный – чуть греховный – взгляд и поднимается ему навстречу. Необъяснимый феномен: за ней всегда ухаживали только военные. «И в школе, и позже», – делится она. Штатских не было. Есть, видимо, в человеке какое-то скрытое «теле» – некий маленький притягательный магнитик. С разбором. Наверное, поэтому она спокойно отреагировала на восторги генерала Лоттвика – старого полицейского зубра, даже не пытавшегося скрывать своего восхищения. А правда, какие красивые у нее ноги, если смотреть со стороны... Так, молодой лейтенантик хочет осадой вырвать еще тур. Нет-с, юноша, это вам не занятие по баллистике. Катрин возвращается к столику, наливает сухого вина, потом оборачивается ко мне: «Гарри, покрутимся немножко, а то бедный мальчик не даст мне покоя...»

На курорте мы давно: где-то второй месяц. Мне здесь нравится, и я чувствую себя по-настоящему отдохнувшим. Погода чудесная, жаркая, купаемся вволю, мы с Катрин заплываем далеко и нежмся на спине. А то берем лодку и тогда – троим – катаемся в безветрие по морю. Я люблю сидеть на веслах. Такой погоды дома не встретишь: пальмы, кипарисы, самшит. Иногда чудится, что всю жизнь провел в этих краях. А песок, песок на взморье! Ляжешь в него, уткнешься лицом – и ничего для тебя не существует: ни ветра, ни южного солнца, ни бесконечного гортанного крика чаек. Хотя чайки есть и у нас в Лондоне – их много на Темзе, особенно в порту, но они там совсем другие – нет в них той удалости, той властности, той раскованной легкости, так: манекены в перьях. И море здесь иное, чем на севере, – словно наполненное из другого кувшина.

По ночам в спальню доносится рев обманчиво ласкового моря – оно стонет, как больной ревматик. Так тянет стонать и меня, когда сильно ноет нога. Но я стискиваю зубы – иначе Катрин расстроится: она считает, что ногу залечили. А мне не хочется печалить ее – она и так целый год сиделкой. Господи, какое было бы несчастье, если бы я вдруг, ни с того ни с сего, потерял ее! Где бы я нашел замену? Во всем мире нет второй такой женщины, как она. Нет, пожалуй, есть еще одна, вернее, была. Теперь ее уже нет в живых. А что стало с ее мужем, не знаю: я попал в больницу буквально назавтра по окончании следствия. Это знает Катрин – ей говорил генерал Лоттвик по телефону. Но со мной она делиться не желает: ей слишком известен мой пунктик. Вот я и пребываю в счастливом неведении, ибо не нахожу в себе сил выпросить у нее правду...

Отдыхаю я давно, начал еще до Франции, в психиатрической больнице под Лондоном (не работал – значит отдыхал). Поначалу я находился в очень тяжелом состоянии: они нажимали на электрошоки, брали пункцию спинного мозга и вводили ее в голову, а затем японской аппаратурой что-то высвечивали там. Что со мной только не выделявали! Я терпел больше из-за Катрин. Но к концу первого месяца наступило облегчение. Прошли головные боли, я начал спать без галлюцинаций, утихла «стрельба» в ноге. Словом, стал обретать человеческий облик. Вокруг участилось слово «поправка». Действительно, дело пошло к ней. И в каких цифрах измерить участие Катрин? Она приезжала ко мне через день – мы гуляли по парку, а иногда выходили за высокую каменную ограду и бродили по сосновому бору. Он был совсем диким, и врачи предостерегали нас не забываться и не углубляться. Моя палата находилась на верхнем этаже: Катрин называла ее мансардой. Вид из окна был поразительно красивым. Причем именно в ненастье. Кроны деревьев шумели однотонно и страшновато, косой дождь закрывал горизонт, и мне было сладко сознавать, что я нахожусь в несокрушимой крепости, которую не по плечу взять самым темным силам. Особенно остро ощущал я это по ночам, когда еще слишком жива была память о последних днях моего Валтасарова пира. Но и потом, когда по

разрешению врача санитары сняли с окон сетки и открыли балкон, я все равно переживал те же самые чувства...

Катрин стала приезжать каждый день, больше того – оставаться ночевать в палате. За те деньги, которые я платил, они могли позволить мне роскошь завести шашни с собственной женой. Сверх того, в финальные недели мне без обиняков сказали, что для полного выздоровления необходима регулярная интимная жизнь. По сему поводу здесь и обосновалась Катрин. Она сама врач и прекрасно знает, как это оптимально обеспечивается. Я едва дух успевал перевести. Сынишку приходилось оставлять то у ее, то у моей матери. Он, впрочем, больше любил «мамину бабушку» – там еще имелся крепкий дедушка, катавший внука на яхте с заходом в море или Канал. А «папина бабушка» кутала его в шарфы, закармливала гоголем-моголем и, чуть что, пичкала лекарствами. Так она привыкла, так в свое время поступала с его папой, и ребенок неохотно соглашался оставаться у нее в гостях.

Появление Катрин успокаивало меня, словно лекарство. Она доставала из пакета какие-нибудь сласти, мы – под ее протесты – съедали их вдвоем, а затем шли гулять или занимались тем, что «необходимо для полного выздоровления». Думаю, что если бы поправка зависела только от этого последнего, то я исцелился бы в считанные минуты. Кроме жены ко мне не приходил никто. Таково было мое желание, и его исполнили строго и неукоснительно. Исключение составил один человек, которого, кстати, я меньше всего хотел видеть: моя мать. У нас с ней старый спор и из-за женитьбы, и из-за службы. Погоня она не принимала с особым ожесточением: все чудилось, что форма будет портить меня, что работа в полиции – юношеская блажь. Поэтому, когда сказали, что она все-таки приедет, я приготовился к самому неприятному – прочитать в ее глазах скрытое торжество. И ошибся! Торжества не было – она молча смотрела на мой больничный халат, на заросшую физиономию, на затканную сеткой двойные окна и тихонько всхлипывала. Мне даже стало жалко ее – передо мной сидела усталая пожилая женщина, распаковывавшая свои кульки и коробки. А жена жалела еще больше. В ответ на мои упреки она возразила: «Я не могла отказать, Гарри. Прости. Вспомнила, что и у нас есть сын, и представила, как вдруг невестка не пустила бы меня к Вилу».

Было и еще одно исключение: в самом конце, в день выписки, Катрин приехала за мной на машине вместе с сыном. Он бросился мне на шею, заплакал. Я успокаивал его, мы поборолись немного, и, понятно, он победил. Потом снесли вниз уже запакованные вещи и стали прощаться с медиками. Несмотря на запрет, Катрин позволила мне пару миль повести машину. Это сразу вернуло ощущение полноценности... В Альпы мы авто не взяли умышленно: «Ты будешь много ходить пешком!» – продиктовала моя королева... – «С вашего позволения?» – я подливаю себе вина. – «Который?» – деловито осведомляется Катрин. – «Третий». – «И последний», – щелкает она пробкой...

Вообще я должен отчасти реабилитировать мать: она выступала не столько против Катрин, сколько против первого развода. Не хочу и себя оправдывать – в конце концов я взрослый мужчина, – но та женитьба зависела не от меня. За ней в полном смысле слова стояла тень моей главной родственницы. Я отбивался, но, видимо, недостаточно. Настоял на своем в выборе специальности, и у меня не хватило духу отказать ей в выборе жены. Посмотрел на ее просящие глаза – и не сумел. Почему развелся? Трудно назвать однозначную причину. Во всяком случае, не быт. Скорее, не возникло контакта. Отсутствовала элементарная спайка. Обязательно с чьей-то стороны – нажим, с чьей-то – уступка. А с обеих – глухое раздражение. Какая тут семья? Ее никакое долготерпение не склеит. «Надо быть великодушнее», – твердила мне мать, но сих заклинаний хватало лишь на короткий срок.

Как человек дела, я не выношу условностей, жена же, напротив, не могла без них. Они не просто требовались ей, они были ее питательной средой, что взвинчивало необычайно. Я насчитал в ней условности трех видов: общечеловеческие, но доведенные до крайности, до болезненности; групповые – те, что она вынесла из кружка своих мелкобуржуазных подружек,

и, наконец, собственные, ценимые ею выше всех остальных и куда более многочисленные, чем все остальные. Это донельзя счастливо преломилось в семейной жизни. Наверное, даже уход за мной перед самым расставанием она считала условным приличием и потому выполняла его беспрекословно. Это выворачивало меня наизнанку, но не мешало пользоваться практической стороной. По сей день помню ее оживление накануне суда: она, склонясь над машиной и тщательно массируя каждую складку, стирала мою рубашку. Еще бы: муж – ее муж! – завтра идет на развод! Как же в несвежей рубашке?

Со второй, Катрин, совсем иное. Не скажу, что мы рождены друг для друга, но в нас одинаковый набор житейских установок, которые нет нужды и уточнять: до того все как на ладони. Она – детский врач, что весьма кстати: не приходится тратить денег при простудах Вила. Так вот, все одно к одному. Я доволен и поистине счастлив. Да и на работе как будто везет: интерес есть, и по службе не обходят. Что-что, а с начальством – идеальные отношения. Здесь тоже не без заслуги Катрин: когда справляли ее день рождения, именно она надоумила пригласить шефа. Я уверен в их чисто платонических отношениях (для более серьезного пауза слишком затянулась), но если начистоту (а теперь я гораздо либеральнее во взглядах на жизнь), то старый конь борозды не испортит. «Перестань ты, право, – отмахивается она, когда я начинаю шутить, – он мне в дедушки годится. С ним интересно поговорить – не больше. Ну клянись тебе: я забываю о нем, как только вешаю трубку. Между прочим, моя мама – они вместе заезжали в управление после того, как я заболел – о нем очень высокого мнения: говорит, воспитанный и культурный человек». – «А я?» – «О тебе она тоже ничего плохого не говорила». – «Тоже!» – бормочу я. Катрин прижимается ко мне и, смеясь, целует... Вечер кончается. Оркестр заметно утомился. После очередного «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный» звучит «Прощальное танго». В нем кружимся и мы с Катрин. Из-за столика неподалеку за нами хмуро наблюдает обиженный лейтенант...

Нам хорошо вдвоем, мы ни на кого не обращаем внимания. И я вспоминаю, что точно так же восемь лет назад, не обращая ни на кого внимания, мы танцевали с нею в наше первое знакомство... Был рождественский вечер в Офицерском собрании, куда по традиции приглашали и офицеров из «Шотландии». Здесь, в банкетном зале, сглаживались все противоречия между «томми» и «бобби», и постороннему взгляду присутствующие представлялись единой, спаянной в вежливости и рыцарстве массой. Зал был потрясающе иллюминирован. Помимо огромной, играющей огнями елки электросвечи мерцали со стен, с простенков и старинных каминов. Шептались, что комендант распорядился установить на потолке дополнительные люстры. Не ручаюсь за истинность, но по помещению действительно перекачивалась вакханалия огней, и от них рябило в глазах. Кроме того, центральная люстра, выложенная хрусталиками в виде шара, могла вращаться, и когда в разгар танцев погасили свет, то по полу, по стенам, по лицам закружились, забегали скользкие, размытые светлячки, которые напоминали чем-то снежинки, подхваченные метелью...

Я танцевал в тот вечер со многими, не ожидая никакого знакомства и не провоцируя его – просто выпил и хотел общения с женщиной. Но как-то сразу наша группка оказалась напротив такой же сплоченной стайки студенток-медичек. Девушки, очевидно, ожидали превентивного удара, но мы, впервые попав в этот зал, только начинали в нем осваиваться. Это рассмешило их, и одна, – смелая, как умеют быть смелыми лишь молодые медички, – что-то громко сказала подружкам. Они, прыснув в нашу сторону, расхохотались. Это растормошило, и мы, мигом поднявшись, направились было к «объекту», но в тот момент дорожку пересекли армейцы. Мы переглянулись и стали подыскивать других партнеров. Катрин я заметил случайно – в одной из соседних пар. Я не знал сначала, что и она была в той «медицинской» группке. Передо мной стояла стройная, ослепительная красотка, которую нарасхват приглашали разномастные офицеры. Счастливицам она уделяла по несколько минут и, как мне показалось, не больше одного тура. Пробыться к ней не представлялось возможным, и я, наверное, не стал бы даже

предпринимать попытки, но внезапно помог случай. Разорвавшаяся у елки хлопушка привлекла общее внимание: все повернулись в направлении хлопка, а я остался неподвижным. Тут мне и повезло: глаза Катрин, рассеянно скользнув по толпе, на секунду задержались на моем лице. На секунду, не дольше! Она отвернулась и легкими грассами понеслась по залу с каким-то моряком, но вскоре вернулась к старой «точке». С интересом взглянула на меня и, невзирая на чужие приглашения, осталась на месте. Я с замиранием сердца, тяжело передвигая ногами, подошел к ней. Чуть позже полюбопытствовал, почему она не погнушалась обществом весьма «перебравшего» кавалера? «А я сразу поняла, что это у вас случайно. Срыв какой-то». – «Верно, уже месяц, как я развелся с женой». – «А вы не считаете, что сами виноваты?» – «Не знаю. Очень может быть. Но сейчас мне просто плохо...»

«Катрин, – шепчу я, крепко прижимая ее к себе, – ты сегодня романтична?» – «Ну, прервати, – вырывается она, – ребенок же услышит». Мы смотрим на Вила. Нет, ему не до нас, он занят своим: набирает полные пригоршни гальки и бросает их далеко в море. Плеск камней сливается с рокотом волны, иногда его перекрывает человеческая речь из рыбацких домиков и пришипленных к берегу лодок. «Болят голова?» – спрашивает Катрин. – «Немножко, – признаюсь я. – Оркестр так гремел. Давай прогуляемся с полчаса». – «Конечно. Только Вила уложим...»

Почему я стал следователем? Трудно сказать. В детстве никогда не мечтал о лаврах Шерлока Холмса, а в старших классах увлекался гуманитарией. До известной степени выбор был продиктован опять-таки сопротивлением матери, во сне грезившей моим архитектурным дипломом. В архитекторы я идти не хотел. Так и сказал: «Не пойду – и все!» И не пошел. Вместо этого, вызвав повсеместный вздох удивления, подал документы на юридический факультет Оксфорда. Мною владела тогда навязчивая химера, будто такая профессия начисто избавит меня от унижительного контроля семьи. Вероятно, именно поэтому я и согласился с материнскими уговорами жениться, не очень разобравшись в предложенной кандидатуре. На первый взгляд – уступка, а на деле – еще одна попытка вырваться из-под материнской юбки. Таковы были пружины моих важнейших жизненных решений.

В университете занимался настойчиво и в охотку. Мне нравились предметы, нравилось преподавание, нравился контингент. Я был одним из лучших студентов – лучшим! – особенно на последнем курсе. По всем дисциплинам имел «отлично», а по римскому праву ко мне приходили консультироваться докторанты. Кто знает, может, и трудился бы я скромно и со знанием дела в какой-нибудь нотариальной конторе или вел защиту на процессах, но в мою жизнь с налета ворвался некий дух-искуситель по имени Эндрю Тарский. Это поразительный человек! Я знаю его добрых полтора десятка лет – на столько же он и старше меня – и не перестаю изумляться многообразным обличьям, которые принимает сей муж и за которыми – и то частично! – узнать его характер дано лишь близким и наблюдательным людям. «Ха! – воскликнул он, преподаватель эстетики, где-то курсе на третьем, проставляя в мой матрикул жирную пятерку. – А ведь вы, Бланк, безвкусный человек!» – «М-да-а? – поразился я. – Никто мне об этом не говорил!» – «Ха! Я говорю вам. Я! Недостаточно?» – «В чем же выражается мое безвкусие?» – «В незнании жизни! В отсутствии интереса к ней. В том, что вы намереваетесь потратить жизнь на адвокатские благоглупости и убиваете способности, роясь в античном хламе». – «А что мне делать, позвольте?» – «Идти в полицейскую школу! Облачиться в форму! И если уж копать в человеческом навозе, то не на судейском подворье, а на чистом воздухе странствий и приключений. Там вы действительно преуспеете. С вами начнут считаться. Поверьте старому волку!» В аудитории никого не было: меня он оставил «на закуску», и уединение подбивало на откровенность. «Так что же, – оторопел я, – университет бросать?» – «Зачем бросать, нелепый юноша? Зачем? Вы с успехом совместите и то, и другое. И скоро обнаружите, какие будут это прекрасные дополнения».

Красоту дополнений я обнаружил очень скоро. Буквально через неделю после поступления в школу ко мне подошел декан факультета (Бог весть, откуда он проведал), пожал руку, поздравил и посоветовал в случае «каких-либо проблем», не стесняясь, заходить к нему в кабинет. Не стесняюсь! И я... пользовался. Несколько раз. И всегда встречал благосклонный прием. А накануне выпуска он отозвал меня в сторону и предупредил: «Вас ждет сюрприз. Приготовьтесь».

Он был дивным, этот сюрприз: в кабинете, куда меня пригласили, за столом среди преподавателей сидел... заместитель начальника полицейской школы. При моем появлении все заулыбались, закивали головами, а офицер торжественно объявил, что ввиду моих успехов мне присвоено звание старшего лейтенанта и я принят на службу в «Скотланд-Ярд». Кто-то зааплодировал, посыпались поздравления. Начальство пожимало руки: «Отменный выбор! Мы ценим патриотов». Я ловил, впрочем, и завистливые взгляды. У краешка стола тихонько ухмылялся Тарский...

Моя профессия вызвала повсеместный шок. Еще бы! Никто из родни не был человеком порядка. Они именовали себя людьми чести, людьми долга, совести, слова, дела, но порядка – никогда! Мои предки – негоцианты Бланки – переехали из Пруссии в разгар Семилетней войны. Сначала жили и торговали на правах подданных союзной державы, а потом, благодаря энергии и щедрым – часто безвозвратным – займам столичной мэрии, натурализовались и получили британские паспорта. Сказать, что все двести лет наш клан безвыездно просидел в Лондоне – сказать слишком сильно. Коммерция есть коммерция, и купец есть купец. Очень скоро семья разрослась, все и сестры обзавелись собственными домами и фирмами, у каждого появилось дело, и от компании «Blank and brother's» осталось лишь одно солидарное название. Единственный обобщающий символ. Знак рода. И еще один штрих – праздники, когда мы собирались вместе. Нас было так много, что приходилось открывать смежные двери и расставлять столы в разных комнатах. Но обилие забот – деловых и семейных, стянутых в крепкий узел, – привело к тому, что даже на торжества мы съезжаемся далеко не все, и перед наполнением бокалов обязательно слушаем (кто грустно, кто с издевкой) приветственные телеграммы от родственников, которые по «веским причинам» не смогли быть с нами...

В середине прошлого, XIX века выдвинулись два Бланка – Джеймс, занимавшийся крупными операциями с Ост-Индской компанией, и Альфред, нажившийся на хлебных поставках из России. От Альфреда по прямой линии происхожу я. Семейный архив говорит о нем как об опытном и предприимчивом дельце и отличном семьянине. Я несказанно благодарен ему: он завещал моему деду, а значит и мне, весьма солидное состояние, которое обеспечило моей семье все жизненные блага и которое я должен, обязан, призван, – конечно, в меньших размерах – передать сыну. Альфред Бланк много торговал и часто общался с поставщиками. В Петербурге у него были налажены обширные знакомства, причем не только с частными лицами. Казна оказывала ему систематическое покровительство. Особенно тепло упоминает он в переписке канцлера Карла Нессельроде, несколько раз обедавшего с ним и подписавшего разрешение на вывоз товара по пониженным пошлинам. Кстати, относясь по семейной традиции к этому канцлеру с чрезмерным уважением, я – в силу разных обстоятельств – так и не смог выбраться в Ленинград, чтобы возложить цветы на его могилу. Дед пугал нас, что большевики, если не разрушат надгробие, то в любом случае соьбьют крест. Я, признаться, верил этому, но Тарский, побывавший в прошлом году в России, успокоил меня, что на Лютеранском кладбище памятник стоит цел и невредим, хотя должного присмотра за ним нет...

Альфреду пришлось закончить свои финансовые манипуляции с началом Крымской кампании. На счастье, в амбарах Ист-Энда скопилось достаточно нереализованного хлеба (что прежде пугало его), и он смог еще долго продавать его по разным ценам – в зависимости от качества мешков. Новый «русский бум» пришелся на шестидесятые годы и совпал с эпохой реформ. Письма моего родича пестрят интереснейшими зарисовками той поры. Было о чем

писать! В одну из поездок ему дал аудиенцию сам царь-Освободитель, который попросил передать поклон королеве Виктории. После этого прадеду разрешили построить большие хранилища на Гутуевском острове и выдали бумагу на беспрепятственную торговлю.

Но вообще в те годы интересы старшего Бланка лежали прежде всего в среде разбогатевшего московского купечества (у нас в нафталине еще хранится превосходная чуйка). Был он вхож и к генералу-губернатору Москвы князю Долгорукову, исподволь благоволившему ко всякого рода финансистам. Мне, например, всегда приятно сознавать, что древний однофамилец князя – Юрий – хоть и не имел прямого отношения к новым Долгоруковым, но происходил от принцессы-англичанки Гиты Годвин, а Москва, заложенная властителем-полуангличанином, приветливо принимала британского купца. В результате таких поездок и перекупки русского зерна в наших сейфах скопился кругленький капиталец, на который, между прочим, я отдыхаю сегодня в Приморских Альпах. Мир праху прадеда моего! Да будет земля ему пухом!

Подобные симпатии моего клана исключали моральное право на уход из вековой профессии или профессий смежных. Я переступил черту, установив свои нормы, и близкие положительно смотрели на меня, как на белую ворону. Неудивительно, что мать, узнав о моем поступлении в полицейскую школу, вначале приложила к вискам ватки с уксусом, потом чуть не силой нацепила на меня белую рубашку, вывязала галстук и потащила в дом к этой несчастной Джейн, с которой мы наспех обручились...

Почему я пишу о себе так подробно? Наверное, потому, что хочу уяснить закономерность своего столкновения со столь странным уголовным делом, да и понять, отчего это следствие, мне, следователю, вышло боком, и именно таким боком? Просто так ничего не бывает. Что выгораживать себя: мне, грешному, и по сей день многое не ясно. Слишком многое. Но, если начистоту, то сейчас важнее всего не заполнить белые пятна, а узнать, любой ценой узнать, какой же была конечная судьба того заключенного – Ричарда Грайса, или Дика, как я звал его на допросах. К стыду своему, я не знаю о нем больше ничего, ровным счетом ничего, что могло бы хоть как-то успокоить мою совесть. Катрин, единственная моя отрада, мой ангел-хранитель, непроницаемо молчит, и еще долго-долго исход чужих и далеких страданий останется для меня тайной за семью печатями...

Утром шестнадцатого сентября позапрошлого года меня вызвал к себе начальник столичного управления полиции генерал-лейтенант Лоттвик. По штату я состою при его особе, и потому вызов в кабинет шефа для меня не событие. И на сей раз я тоже не предполагал ничего сверхъестественного. Обычная рутина: итоги, текущая работа, пара ценных советов – и рукопожатие на прощание. Я попал под крыло Лоттвика сразу по поступлении на службу, и меня определили в отдел уголовных преступлений. Правда, постоянного дела нет – всякий раз какая-нибудь бенгальская вспышка. Официально я так и именуюсь: инспектор королевской полиции по особым поручениям. Длинновато, зато внушительно. За многие годы совместной службы мы привыкли к определенному порядку вещей, к определенному типу отношений, и исходная точка работы всегда падает на 8.30 утра. Так заведено генералом, и никому не приходит в голову оспорить его вельможные установления.

Единственное, что мы можем себе позволить, – втихаря дать ему прозвище. Оно необидное – барон Биндер (в романе «Пармская обитель» – начальник австрийской полиции, расследовавший поступки молодого дель Донго после его приезда из наполеоновской армии). Таким стендалевским именем мы окрестили шефа не случайно: он происходит из старинной аристократической фамилии, и служба в «охранке», соединенная с этим обстоятельством, обретает в наших глазах попеременно то благородный, то смешноватый оттенок. Но вообще мы любим нашего барона Биндера – он своих в обиду не дает и, несмотря на родовитость, крепко стоит за каждого, будь тот даже из низов. Может, в нем много и показного демократизма, но мы за ним как за каменной стеной и с опаской вглядываемся во времена, когда он выйдет в отставку. Ведь

незадача: отойдет от дел Биндер, отец родной, и поставят какого-нибудь «ястреба», который уж спуску не даст. Вот будет номер!

Шестнадцатого сентября наш ежедневный разговор пошел по не совсем привычному руслу. Указав мне рукой на кресло, Биндер еще несколько мгновений продолжал, нахмурясь, читать какие-то ротаторные листки, делая на них пометки красным карандашом. Затем, отложив их, он без предисловий спросил: «Как вы оцениваете, Бланк, состояние преступности в городе за последнюю десятидневку?» Все, что я мог сказать, было прекрасно известно и ему самому, и потому я почел за благо промывать нечто нечленораздельное. «Вот именно, – плавно взмахнул рукой шеф и включил вентилятор. – Вот именно. Вы даете очень трезвую оценку. Именно такое у нас ее состояние. А кто виноват?» Я опять что-то промычал, на сей раз чуть поглуше. «Кто виноват? – продолжал Биндер, обращаясь больше к себе. – Мы с вами. Да-да. Мы с вами. Вы и я. И не только. Все управление! Все оно работает спустя рукава. Полагают, видимо, что преступность сама исчезнет. Куда только? А мы с вами, капитан, должного нажима не оказываем. И это никуда не годится. Вот, полюбуйте!».

Он протянул мне ротаторные листки с приложенной фотографией. На фоне пруда были изображены два дрожащих от холода молодых человека – юноша и девушка, совершенно голые. Рядом с ними валялся труп – патрульный. Пояснительная записка расшифровывала, что поздним вечером 12 сентября банда хулиганов из пяти человек, вооруженная ножами и кастетами, напала на влюбленную парочку в городском саду и, заставив ее раздеться донага, несмотря на пасмурную погоду, глумилась и издевалась над нею три часа кряду. Случившийся поблизости страж порядка подошел к бандитам, вытащил пистолет и велел немедленно оставить парочку в покое. Шпана и бровью не повела. Один из подонков незаметно подкрался к «бобби» сзади и подножкой повалил его на землю, второй выбил пистолет, а третий по рукоятку всадил нож в живот, когда он попытался подняться. Головорезы всю ночь измывались над несчастными и покинули их лишь с рассветом. Характерно, что инцидент имел место в центре Лондона, а преступники, убив полицейского при исполнении служебных обязанностей, даже не утражились содеянного и продолжали всю ночь бесчинствовать возле трупа. Результат: у парня – воспаление легких, у девушки – нервное потрясение.

«Что ж, пакостно, но очень по-земному. Не ребята Батлера отличились? – постучал я ногтем по бумаге. – Похожий почерк. Он всего две недели как освободился. Третий срок. Я давно говорю: надо весь этот гнойник срезать. А судья ордера не выдает». – «Кто его знает, – процедил Биндер, – будем искать. Надо же: прямо у нас под носом. Хоть мешками с песком огораживайся. Устроим очную ставку. И не миндальничать. Не миндальничать! А то разговоры с утра до ночи: а во Франции, а в Бельгии, а у черта на куличках... Там хорошо, где нас нет. Уверю вас, и в Бельгии, и во Франции начальство так же вызывает подчиненных на ковер и распекает за промахи».

Я кивнул и еще раз изучающе взгляделся в донесение. Как водится, оружие забрали с собой. Что ж, с одной стороны – хуже, а с другой – облегчит поиски. «Разрешите приступить?» – посмотрел я на генерала. Он облокотился о ручку кресла и вдруг улыбнулся: «Нет, Гарри, не разрешаю». – «То есть как?» – я слегка привстал на месте. – «А так. Это дело я передам кому-нибудь другому. Вам я показал его как острую приправу». Дальше разговор пошел в таком доверительном ключе, в каком не велся, пожалуй, никогда. Я слушал, стараясь не пропустить ни слова, ни жеста, но не понимая еще до конца замыслов Биндера. Он отметил, что случай на пруду далеко не единственный; есть и аналогичные; в городе орудует, по-видимому, какая-то молодежная банда, и совсем не обязательно ее атаман – Батлер. Для убедительности генерал показал диаграмму роста преступности в Лондоне (с разбивкой по районам), подготовленную для министерства внутренних дел. Потом, наклонившись ко мне, доверительно поделился, что «подобные штуки» с руки лейбористской оппозиции, и наш долг...

Свой долг я знаю хорошо: мне о нем каждый день твердят, и слова шеф-тори я пропустил мимо ушей. Гораздо больше волновало, какую роль барон Биндер отводит лично мне в своем плане сокрушения гидры бандитизма. Не собирается ли он назначить меня главным Гераклом? Это уж мне не с руки: болото больно вязкое, а успех проблематичен... Я взирал на него, не отрываясь, а он разглагольствовал, довольный, в полной уверенности, что подавил собеседника монументальностью задач. «Вы понимаете?» – спрашивал он поминутно. – «Да-да, господин генерал», – отвечал я с той же частотой. – «И вот тут-то основное не только пересажать мерзавцев, – донесся до меня баритон начальника, когда я, наконец, успокоил себя относительно прочности своего положения. – Нужно доказать избирателям, что мы способны на профилактику. И профилактику действенную. Причем проводить ее надобно как в изученных сферах правонарушений, так и в областях, еще выдвигаемых современным развитием». Генерал говорил убежденно, загибая пальцы, словно подсчитывая составляющие новой теории.

Из его спича я понял, что мы хоть и консерваторы, но должны быть и новаторами, если желаем удержаться на поверхности. Необходимо привести законодательство в гибкое соответствие с динамикой жизни. Но там, где нет возможности сделать достаточное обобщение, чтобы предложить законопроект парламенту, следует использовать и отдельные серьезные факты для внедрения в практику судопроизводства в качестве отсылочного материала – сиречь прецедентов. Это в традиции наших судов. Особенно надо нажать на те юридические грани, где таковые факты отсутствуют, вернее, не выявлены. И здесь непочатый край – медицина. «В медицине я – профан, – развел я руками. – Никогда никого не лечил». – «А лечить и не потребуется. Кроме того, у вас жена – врач», – голос Биндера слегка потеплел. – «Так что ж?..» – «Да нет, о жене я так, к слову, – оборвал он меня. – Разумеется, капитан, я не сошел с ума, чтобы предлагать вам заняться здравоохранением. Речь о другом. Речь идет о конкретном казусе, связанном с медициной. Но о казусе, из которого грешно не сделать расширительного судебного вывода. Дело необычайно запутано. Рубить невозможно, оставить – немисливо, придется распутать. Мистика какая-то. Возьмитесь-ка за него, инспектор Бланк».

На стол легла еще одна папка – новенькая, картонная; сверху тушью было аккуратно выведено: «Дело №...». Биндер, понизив голос, заговорил о происшествии на кладбище, где два дня назад был обнаружен некий субъект, пытавшийся вскрыть могилу. Его задержали, и выяснилось, что это человек, уже несколько недель разыскиваемый органами правосудия по обвинению в убийстве жены. Каково же было изумление дознавателей, когда стало известно: разрытая могила принадлежала... этой самой жене. «Представляете, капитан, его ищут днем с огнем, а он посреди кладбища взламывает памятник той, которую угробил! Каков молодец!» – «М да-а, – пробормотал я, – но при чем тут медицина?» – «И инструменты, инструменты! – не слушал меня вещавший. – Целую мастерскую приволок из дома. И полно гвоздей. Вся могила в гвоздях. Зачем они ему?» – «Что ж не спросили?» – «А как спросить, если он не вышел еще из глубокого обморока? Лучшие силы брошены, но пока – робкие сдвиги». – «Чувствительные, однако, пошли преступники! – рассмеялся я. – Былые головорезы не так сентиментальничали». – «Во! – радостно воскликнул Биндер. – Во! В том-то и дело, что сей муж – не обычный головорез. Около года назад он перенес... пересадку сердца».

Изумленный вздох, вырвавшийся у меня, был расценен генералом как признак понимания, и он опять удовлетворенно кивнул. Мы с повышенным интересом склонились над папкой. Скупые строки досье давали скудную пищу для доводов и выводов. Ричард Филипп Грайс, сорока лет, служащий бюро по систематизации и распространению рекламных объявлений, врожденный порок сердца. Двадцать седьмого мая 19.. года, с добровольного согласия (подписка прилагается), был подвергнут операции по пересадке сердца в кардиохирургическом центре профессора Оскара Вильсона, следствием чего явились заметная поправка здоровья и прекращение жалоб. Женат вторым браком на миссис Анне Клемент Грайс, в девичестве О'Далли, тридцати пяти лет, уроженке Дублина, натурализованной британской подданной с

момента вступления в брак с мистером Николасом Смитом, электриком (распоряжение министерства внутренних дел № 1358-б от 5 сентября 19.. г.). По расторжении брака с мистером Смитом, ныне проживающим в Ливерпуле, потерпевшая некоторое время занималась надомной машинописной практикой, а затем, по непонятным причинам, оставила работу и устроилась секретаршей в рекламное бюро, куда позднее пришел и Грайс. Упомянутые, оформив брак, начали совместную жизнь на квартире у Грайса, который вскоре тяжело заболел, почему и потребовалась операция. После поправки Грайс вернулся домой. Отношения его с женою в данный период неясны. Связь между ними и трагичным исходом выясняется. Известно лишь, что поздно вечером второго сего августа миссис Грайс выпала из окна своей квартиры, разбившись насмерть. По одной версии, она покончила самоубийством, по другой – была выброшена во двор мужем. Свидетельские показания противоречивы (консьержка, бывшая незадолго перед тем в доме Грайсов, указывает, что Анна находилась одна, но Ричарда ожидала с минуты на минуту; Грайса видели у трупы жены в людном месте, но откуда он подошел с улицы или из квартиры, не знает никто etc). Повестками из полиции обвиняемый пренебрег. На следующее утро после случившегося он бесследно исчез и не подавал о себе вестей. Произведенный на дому обыск существенных результатов не дал. Принятые меры к поимке не привели. Лишь 14 сентября, спустя полтора месяца, он был обнаружен глубокой ночью на кладбище... взламывающим надгробие своей жены. Мотивы туманны. Негодяй не подчинился охране, оказал дерзкое сопротивление и ранил сторожа. Однако, потеряв в стычке много сил, сам лишился сознания и в настоящий момент находится без чувств в тюремном госпитале. Ввиду исключительных обстоятельств дело передано в отдел особо опасных преступлений...

Мы одновременно закончили чтение и переглянулись. «Небогато, – заключил я, и Биндер кивнул. – Неясно. Неизвестно. Непонятно. Не представляю, как из этого я смогу лепить прецедент. Там нужна железная логика. А парень-то, видать, не из разговорчивых». – «Надо думать, молчун!» – согласился шеф. – «Что ж, господин генерал, положено – значит положено. Я вывернусь наизнанку – сделаю все, что в человеческих силах». – «Я не сомневался в вас, Гарри, – удовлетворенно улыбнулся Биндер. – Выбрал вас из многих и не ошибся.

Дай руку, Бэкингом,
Ты – золотой слуга...».

«Но это золото мы испытаем», – в том ему подхватил я. – «Гарри, – закурил Лоттвик, – на карту поставлено многое. Пересадки сердца вызывают у одних восторг, у других – протест. Правозащитное движение все больше говорит о моральном аспекте, о нравственной правомерности таких операций. Нужно как-то примирить крайности, помочь правосудию, а заодно поставить грандиозное телешоу в самый разгар предвыборных гонок, показав, как мы умеем поддерживать порядок. Не стоит добавлять, что до окончания следствия недопустима никакая утечка информации. Докладывать только мне. Выполняйте», – он толчком пододвинул мне папку.

...Катрин, Катрин, жизнь моя, почему ты скрываешь правду? Неужели ты думаешь, что неизвестность успокоит меня? Ведь рано или поздно я все равно узнаю истину. Так к чему затяжки и отсрочки? Я не прошу подробностей – лишь бы услышать, что он жив, что он ходит по земле. В последнюю нашу встречу он говорил вещи, от которых вставали дыбом волосы, леденела кровь. И я не выдержал и выскочил от него, не прощаясь, хлопнув дверью, выскочил не как страж порядка, а как простой, издерганный до предела невротик. И вот теперь не могу простить себе этого. Сжимаю кулаки и ругаю себя последними словами...

...Мы сидим на перевернутой лодке, и Катрин, сняв туфли, моет ноги в воде. Я смотрю на ее колени, на морскую пену, медленно тающую на ступнях, и думаю, что, конечно, графу

Лоттвику, искушенному в женщинах, не устоять перед такими ножками. Уж в них-то он толк понимает. Недаром на всех торжествах, куда мы обязаны являться с женами, он танцует почти только с моей, а с другими – по долгу вежливости. Сослуживцы смеются: «Бланк, шепни жене – досрочно майором станешь!» Как же, доставлю я вам такое удовольствие! Да... Он опьянен, старый лакомка, опьянен ее красотой, ее молодостью, ее мнимой зависимостью. Опьянен тем, что я ежедневно напоминаю ему о ней. А с ее стороны... нет, один спортивный интерес – флирт с генералом. Любит она только меня. Да стоит ли из-за этого ссориться, ломать копья? Друг дома... Никуда не денешься. «Ведь я ж червяк в сравнение с ним, в сравнение с ним, с лицом таким, с его сиятельством самим».

Катрин выворачивает ногу и начинает осторожно массировать подошву. Это так красиво и соблазнительно, что я подхватываю ее на руки и кружу над собой. «О, – говорит она, приходя в себя и еще держась за мою шею, – какие приемы!» – «Быка за рога», – шучу я. – «Ты всегда – быка за рога. Даже в самый первый вечер». – «Ну, тогда я был крепко подшофе», – оправдываюсь я. – «Вот и не надо было мне идти с тобой, – улыбается она, поправляя волосы, – а я пожалела бедного мальчика. Вижу: раскис сосем». Мы молча вглядываемся в серую пелену горизонта. Море шумит, и, говорят, завтра ожидается непогода. Рыбаки уносят снасти, вытаскивают на песок лодки. Катрин вдруг поворачивается ко мне: «Знаешь, Гарри, я передумала. Мистер В. прав: ты должен писать свою повесть, и обязательно откровенно, обязательно до конца. Книга не пропадет: кому-нибудь да будет интересно. Так что даже если...» Я сумрачно соглашаюсь. Даже если... Подобные обороты у нас в ходу – с недавних пор мы стали суеверны и не все слова произносим вслух. Некоторые пугают нас. За время болезни мы выработали своеобразный жаргон, на котором выражаем шокирующие мысли. Так, сочетание «даже если» на нашем волапюке означает мою отставку. Мы оба не хотим этого и пойдем на такой шаг лишь в крайнем случае. Мать же, напротив, и по сей день страстно жаждет ее. Не может видеть мундир на плечах своего Гарри! Уже в больнице она нашептывала мне (а в письмах продолжает), что у мужа ее школьной товарки в радиотехнической фирме открылась вакансия юрисконсульта. «У тебя будет свой кабинет. Никакой беготни и нервозности – отдельные консультации и обзорные выступления в наблюдательном совете. Работа исключительно на месте». Вот это последнее, конечно... Как я смогу снова в полиции? С другой же стороны... Не знаю просто. А-а, ладно. Нужно сначала домой вернуться.

...Выйдя от Биндера, я отправился к себе и еще раз внимательно пролистал материал. Собственно, листать там было нечего – одна бумажка, простроченная убористым шрифтом, и составляла всю информацию. Дело должен был оформить я – заполнять чистые, нелинованные страницы (сто, двести, триста – сколько потребуется, чем больше, тем лучше), чтобы можно было, с достоинством разложив эти фолианты на судебном столе, сказать в притихшем зале: «Мы встречались уже с аналогичным случаем в 19... году».

Не вынеся из второго просмотра ничего слишком поучительного, я решил действовать сразу по нескольким направлениям. Судя по всему, преступник мне достался оригинальный: я понасмотрелся на всякое, но с таким фруктом еще не сталкивался. Для судов, согласен, нужна методика работы с большими правонарушителями. Но не меньше она нужна и для следователя. А болезнь у этого Грайса из ряда вон выходящая, и проблем, видимо, встанет множество. Поди тут определи с ходу, какой именно результат потребен барону Биндеру и какого Фабрицио должен я разговорить ему на радость. Подводных камней – тьма! Поэтому необходимо вести дело прежде всего по известным линиям, а затем, как клубок, разматывать и новые узелки. Я позвонил в пару точек, и в моем блокноте появились первые отметки. В больнице сказали, что улучшение ожидается в ближайшие дни, на кладбище ответили, что захоронение не тронут, калитка на замке и я могу приехать, когда будет угодно.

Вот почему дознание началось с надгробного временного памятника, или, как шутили сторожа-студенты, околोगробного. Вид могилы настроил меня резко против подследственного. Везде сквозила какая-то спешка, неряшливость, безотчетность, желание во что бы то ни стало довести до конца свои сатанинские замыслы. Осмотр инструмента, дорожки, по которой вслед за нарушителем бежала собака, показания свидетелей – все, все говорило о несомненно преступных замыслах убийцы и осквернителя могилы. Знакомство же с двором и квартирой Грайса не добавило ничего нового к выводам полицейских сыщиков. Оставалось опереться на кладбищенские сведения и предстоящий допрос виновного, готового, по словам медиков, вот-вот восстать из мертвых.

И я дождался того светлого дня. Утренний звонок в госпиталь сорвал меня с места и понес на противоположный конец города. Но здесь ожидало некоторое разочарование. Грайс действительно пришел в себя, действительно обрел память, действительно способен был членораздельно изъясняться и даже писать, но вынести хотя бы часовую беседу оказался не в силах. Ему, видите ли, нужно было время для адаптации. «Ну что вы хотите, – увещевал меня главный врач, – он почти новорожденный: шутка ли – неделя в анабиозе. Больной еще и ходить не может – на процедуры мы перевозим его в кресле-каталке. Кстати, сейчас время терапии – его повезут по коридору». Я не упустил такой возможности: накинув на китель халат, устроился в длинном ряду откидных стульев как раз по движению коляски.

Поскольку незадачливого душегуба в лицо я не знал, то мы условились с врачом, что при появлении «катафалка» из кабинета раздастся стук закрываемой форточки. Грайса, впрочем, я определил и без опознавательных сигналов – стук раздался позже моего осенения. Достаточно было мельком взглянуть на пациента, чтобы понять, кто перед тобой. Тусклое, пожелтевшее лицо, заостренный нос, кричащая худоба, вялые руки сразу выдавали человека, долго жившего нездоровой жизнью. А грузная сестра, мерно шагавшая за каталкой, создавала видимость похоронной процессии за казенный счет. «Да, – усмехнулся я, – семь дней на одной глюкозе...» Но это не вызвало во мне ни малейшего сочувствия. Человек, получивший, наконец, видимое обличье, стал мне еще неприятнее и подозрительнее. Особенное отталкивали глаза – потухшие, равнодушные. Глядя на эту тряпичную куклу, не хотелось верить, что когда-то и он ходил на свободе, работал среди людей, садился с ними за один стол...

Первый допрос удалось провести лишь через несколько дней. Врач, предупредивший об этом, тут же убедительно просил «не вставать сразу коленом на грудь». «Понемножку, – убеждал он, – помаленечку. Вы добьетесь гораздо большего. Он весь соткан из нервов, сшит из подозрений. Нажим ни к чему не приведет». Под двойственным впечатлением – от своих наблюдений и от проповедей тюремного эскулапа – входил я в индивидуальную палату подследственного Ричарда Грайса. Входил, дав себе твердое слово держаться буквы закона, не терять самообладания и добраться до сути, сколько бы времени на то не потребовалось. В дверях снова проверил свою способность исполнить данное обещание и, убедившись в несокрушимой решимости сыграть роль до конца, с легким поклоном вошел в комнату. Лежавший на кровати человек был точной копией того призрака, который проехал передо мной на «катафалке» по больничному коридору. Правда, здесь, в постели, образ немного сглаживался. Причиной являлись руки, тогда, в коляске, болтавшиеся вдоль туловища, а сейчас мирно и незаметно покоившиеся под одеялом. Но в целом это был тот же живой труп, и его лежащее положение как нельзя лучше соответствовало настрою лица и глаз, которые страдальчески выплескивали: «Что вам от меня еще надо? Прекратите вы меня мучить или нет?».

«Инспектор Гарольд Бланк, следователь по вашему делу», – представился я и пододвинул к кровати табуретку. Я специально сел так, чтобы видеть лицо собеседника и одновременно дать ему возможность отворачиваться (конечно, ненадолго), если какие-то вопросы смутят или поставят его в тупик. Мне хотелось придать допросу характер непринужденной беседы, где не будет истца и ответчика, а будут двое: рассказчик и слушатель. Не скажу, что замысел не

удался: я вышел из палаты более довольный, нежели врачи, в один голос твердившие о его маниакальной замкнутости. Но не прихвастну, что план осуществился полностью, – больной почему-то сразу воспользовался предоставленной возможностью, и стоило ему посмотреть на меня, как он отклонял голову и зажмурился глазами. В течение всей беседы меня не покидало чувство, что он говорит сквозь зубы. Но все-таки говорит. В тот день я не переусердствовал относительно сути дела. Старался расположить его к себе, хотя, признаюсь, сам особого расположения к нему не питал. Чуть позже понял бесполезность такого одностороннего хода, но в это же время у меня стало меняться отношение к Дику.

А первый день прошел немного формально, и, как я понял (опять-таки позже), сия формальность имела по собой действительно вескую основу. Главное, мы познакомились, и под конец беседы я поймал себя на том, что общаюсь с Грайсом без особого раздражения, что вижу перед собой не безликую куклу, а человека. Да и глаза у него были не такие уж равнодушные и холодные, как показалось вначале. Важно, твердил я, уходя, не дать ему ощутить своего неприятия – тогда можно рассчитывать хотя бы на куцый успех; в противном случае из него и клещами не вытянешь ни звука. А фальшивый звук хуже молчания.

Очень скоро я осознал причину его замедленного контакта. Вернее, не осознал, а спросил. Мне почудилось, что он снова выдавливал слова сквозь зубы. Тогда я спросил: «Мои вопросы оскорбляют вас?» – «Нет, сэр». – «Я, возможно, позволил себе какие-то лишние выражения?» – «Нет, сэр». – «Почему же вы отворачиваетесь всякий раз, когда нужно отвечать, или говорите с закрытыми глазами?» Молчание. «Ну, в чем дело?» – «Как вам сказать...» – «Так и сказать». – «Вам трудно будет понять». – «Постараюсь». – «Меня пугает... Отталкивает ваша форма. Я боюсь...» Вот черт! Ну как я об этом не подумал? Нацепил на себя полицейский мундир со всеми регалиями, даже значок университетский не забыл и чуть не строевым вхожу в палату. «Простите, господин Грайс, буду иметь в виду». Я стал торопливо застегивать пуговицы на халате...

Материал накапливался быстро, но едва ли продвинул меня к разгадке. Записи касались сиюминутного состояния Грайса, его восприятия пережитого, его сожалений, его рассуждений о том, что бы он сделал, если бы события вернулись к исходной точке. Спору нет, это представляло определенную ценность (особенно учитывая наши установки), мы в управлении не без интереса ознакомились с его lamentациями, но ухватить стержня так и не удалось. Стоило мне приблизиться к сути, как Дик мгновенно замолчал, с убийственным выражением шурил глаза и неподвижно устремлял взор на кончик пикейного покрывала. Встречались мы каждый день, беседовали по два-три часа, и понятно, что к пятой или шестой встрече все общие вопросы были исчерпаны, все подстрочники вынесены, и надо было переходить к основному тексту. И я ломал голову, с чего начать, в какое место закинуть незаметный крюк, чтобы потом, опираясь на него, покорить всю вершину.

Накануне решающего штурма я зашел к Тарскому, точнее не зашел, а заглянул и, к счастью, застал его дома. В последние годы такая удача случалась редко. Он получил откуда-то издалека наследство, оставил Оксфорд и отдался собственным удовольствиям. А так как их у него был легион, то на друзей, естественно, времени не оставалось. Он и раньше грешил недостатком такта и внимания, а сейчас эти огрехи усугубились и, вероятно, стали бы совсем нетерпимыми, если бы он не пропал из Лондона на многие-многие месяцы. Тарский вообще любил странствовать, и поначалу мне казалось, что, родись он в годы великих открытий, то стяжал бы славу, близкую к славе знаменитых первопроходцев. Правда, позже я понял, что одна мелочь, пожалуй, помешала бы ему в достижении их высот: мой друг обыкновенно путешествовал по проторенным маршрутам, любил посещать людные места, спать на мягких, свежестиренных пуховиках, питаться в дорогих ресторанах, останавливаться в фешенебельных гостиницах. А прославленные мореплаватели, при всех меркантильных побуждениях, устремлялись в свои

тысячемильные авантюры очертя голову. Впрочем, добавлю справедливости ради, что и Тарский умел (и умеет) иногда терять эту часть тела.

Кто, как не он, обвязанный алым полотнищем, рядом с самим Даниэлем Кон-Бендитом, шагал во главе огромной толпы в дни «Красного мая» шестьдесят восьмого года в Париже? Кто, как не он, под проливным дождем, лежа на панели с полуголыми студентками, орал во все горло: «Тротуары – под пляжи!» Диву даешься, как он не воспользовался ситуацией – девочки были из всегда готовых.

«Дурак ты! – кричал он мне. – Дурак набитый! Очень они мне нужны, потаскухи грязные. Намазанные, насурьмленные, курящие! Я же из принципа лег, ради идеи. Плевать мне на них!» – «Ой, – хватался я за бока, – ты послушай, Катрин, что он несет! Ради идеи лег! А если бы тебе надо было ради идеи переспать с одной из гошисток? Ну, ради идеи, а?» – «Послушайте, Эндрю, – со сдержанной улыбкой (на то есть основания) вмешивалась Катрин, – а дети у вас тоже из принципа будут? Вы их число программируете в видах прогресса?» – «Что-о? – вскидывал он на нее огромные карие окуляры. – Никогда их не будет. Ош-шибаетесь. При моей загруженности только детей не хватает»... Ну, последнее-то – чистая правда. Не относительно загруженности, а относительно детей. Откуда им быть? В Тарском святой дух не присутствует, а к женщинам он феноменально холоден. Танцует, шельмец, и зевает в сторону. Катрин не единожды знакомила его со своими сверстницами (они годились ему в дочки, но даже подобная экзотика не разжигала Эндрю). Он встречался и сблизился с ними, но стоило делу дойти до объяснения, бесследно исчезал. Когда к нам домой прибежала с покрасневшими глазами третья его пассия, я категорически запретил жене заниматься чужими марьяжами. Ему я ничего не сказал: с ним бесполезно беседовать на житейские темы, тем более читать нравоучения. Это настраивает его на крайне агрессивный лад, хотя сам он обожает изрекать моральные сенсации. Особенно любит собственный афоризм: «Прежде чем жениться, нужно выучить наизусть "Молот ведьм"».

Он часто (до наследства) занимал у меня деньги. Иногда отдавал, иногда не отдавал. Я все равно одалживал ему. По привычке. Ценю его не за обязательность, а за умение говорить. Он превосходный ритор. Именно не оратор, а ритор. Слушать его наедине – сущее удовольствие. Шарм в том, что ему безразлично, кто перед ним: мужчины, женщины, дети, преступники, инвалиды – неважно, кто. Он будет витийствовать с одинаковым вдохновением. Раньше я полагал, что он сам себя сделал таким. Катрин (опять-таки!) просветила. Оказывается, Тарский рожден под знаком Близнецов, а древняя мудрость поучает: толкующему с Близнецами посчастливилось – он может не вставлять ни слова. Вот я никогда и не пытался обрывать речи Тарского. Это выбивало его из колеи и вызывало резкое, как погашенный фитиль: «Ош-шибаетесь!»

Достаточно раз услышать «ош-шибаетесь», чтобы мгновенно понять: перед вами выходец из Восточной Европы. От выпускников до вчерашних абитуриентов все знали, что родом он из-под Белостока, что семья его – потомственные дипломаты (отец служил в министерстве иностранных дел при Пилсудском, а потом занимал ответственный пост в эмигрантском правительстве Миколайчика). Дальнейшее хорошо известно: правительство не получило Польши, пан Тарский – обещанного министерства, а шляхтич Анджей – родового имения, роскошного, ухоженного фольварка, утопавшего в зелени вековых кленов и отраженного в глади искусственных прудов. «Пся крев», – неизменно морщился Тарский, когда речь заходила об утраченном поместье. Он тосковал, и в зрелые годы тосковал по увешанной офортами детской, по бескрайнему цветочному полю, тянувшемуся от самых окон, по плеску весла, по крохотному костелу возле усадьбы, по бельгийке-гувернантке, которая выучила его французскому. «Пся крев», – это произносилось редко, но всегда с чувством.

И такое-то прошлое не мешало ему с головой уходить в левые течения! Не знаю, что он привносил в них, но из них он выносил обостренное недовольство всем окружающим.

Понятно, прежде всего ближайшим. И тут уж на сцену выступал истинный вкус. Дело министра Профьюмо привело его в восторг. «Вот вам хваленые традиции, – игриво разводил он руками и шуршал свежей почтой. – Не устоял. Согрешил. Согреши-ил. И с кем? С площадной девкой. С гетерой уличной. Какая неразборчивость! А ведь он вершил людские судьбы». Обличитель подносил к носу портрет Кристины Килер и начинал ласково поглаживать его пальцами: «Девочка ты моя милая! Овечка ты ласковая! Магдалина, соблазнившая Христа. Ты по простоте и не подозреваешь, что сотворила. Лакмусовая ты бумажка эпохи! Зеркало ты системы!» Лакмусовая бумажка эпохи, косясь в фотообъектив, нахально улыбалась с газетного листа...

Чаще всего Тарский бывал во Франции, проводя там по многу месяцев кряду. Со временем из него сформировался настоящий галломан с привитой самому себе парижской ностальгией. Он привозил из Парижа уйму вещей – полезных и безделушек, покупал дорогие реликвии у букинистов, был без ума от Веркора (я не разделял таких восторгов, и мне сей безвкусицы не прощали). У него появилась оригинальная привычка: по-английски он мог изъясняться только в спокойном состоянии; при малейшем гневе в речи мелькали французские слова. Разговор на родном языке (кроме как с соотечественниками) означал высшую степень недовольства. Со всем этим приходилось мириться, дабы получить иногда наслаждение услышать изысканную фразу.

Вообще, вспоминая наши отношения и свои первые шаги в профессии, я отчаиваюсь объяснить, как такой анархист, как Тарский, сподобил меня на столь охранительное занятие. Случаются же необъяснимые парадоксы! И тем не менее нас тянет друг к другу – меня сильнее, чем его: я, видимо, отдаю дань своему духовному наставнику. Он действительно в какой-то момент сильно повлиял на меня. Мать, понятия не имевшая о Тарском, узнав о моем решении, всхлипывала: «Это ты с чужого голоса. С чужого голоса...» Потом, успокоившись, обняла меня, словно маленького, и зашептала: «Джейн – умная, серьезная девушка. Она убережет тебя от дальнейших безумств...» Ну могу ли я забыть человека, который стоял у истоков всех моих зигзагов и поворотов?

Короче говоря, накануне допроса я просто обязан был повидаться с Тарским – и судьба предоставила мне такую возможность. Он открыл дверь как ни в чем не бывало, даже не поздоровался, пропустил меня в бедлам заваленного чемоданами коридора и деловито произнес: «Хорошо, что ты заглянул. Завтра я улетаю в Скандинавию. Но ненадолго. Скоро вернусь». Мы прошли в комнату, сели у не вызывавшего аппетита стола, закурили. «Может, выпьем?» – предложит Тарский. – «Можно, – согласился я. – А закусить найдется?» – «Вот с этим труднее, – поморщился хозяин, – я, знаешь, ничего не готовлю, не покупаю. Но сейчас что-нибудь придумаем». Он полез в холодильник и достал на блюдечке нечто желтое, оказавшееся на поверку зачерствелым сыром. «Если поскрести немножко...» – «Сыр-то лучше с хлебом хранить – свежее будет», – посоветовал я. – «Серьезно? – удивился Тарский, обрезая корочку. – Так ведь хлеба-то у меня с вечера нет. Хранить не с чем». – «Ох-ох-ох! – вздохнул я, оглядывая комнату. – Ты бы хоть служанку завел». – «А на кой она мне?» – «Ну да, – кивнул я головой и взялся за стакан, – принципы не позволяют. Маркузе не одобрит». – «Не одобрит», – подтвердил мой друг, и мы выпили. Затем еще. На вторую рюмку сыра не хватило, и пришлось выпить так. От третьей я отказался, хозяин проглотил ее в одиночестве и отодвинул бутылку. Угощение было закончено.

Деловую часть начал я, так как Тарский переходить к ней желания не изъявил. Он спрашивал о запомнившихся ему студентах, о моем досуге, стал было распространяться о впечатлениях от поездки в Пакистан, но, увидев, что я нетерпеливо постукиваю по портфелю, осекся. «У тебя что, дело ко мне?» – «Да как сказать...» – «Так и говори». – «Не знаю, можно ли это назвать делом... Даже не скажу, что мне, собственно, от тебя нужно: совет или участие. Нет, не то. Не то! Просто слово. Дружеское слово...» – «Ты о своей кошкодралке?» – «Называй, как хочешь, Эндрю. Да, о ней. В моих руках – удивительный заключенный. Я и на воле таких

людей не встречал. А тут...» Тарский неподвижно смотрел на меня: «Тебе велено сварганить дело?» – «В том-то и соль. Я не могу толковать о подробностях...» – «Ты раскрыл “пороховой заговор”?» – «Ой! Тогда бы я не сомневался. Изменников не щадят. Здесь – другое. Бытовое преступление, да с таким узелочком...» – «Что за субъект?» – «Бывший пациент профессора Вильсона. Тебе это имя ничего не говорит?» – «Профессор Вильсон... – наморщил лоб Тарский. – Что-то с пересадками сердца?» – «То-то и оно. И его пациент – под следствием». – «Ого! Действительно уникам. Вы не перемудрили на скотобойне? Приволокли бычка-доходягу, а рядом здоровенные битюги гуляют как ни в чем не бывало». – «Бычок свое нашкодил, – отвечал я, упершись подбородком в стол. – Обвинение в убийстве жены или – в более мягком варианте – в доведении до самоубийства... А улики никаких, одни подозрения. Правда, весомые». «Что ж, – хмыкнул Тарский, – такое никому не позволено. Он сознаётся?» – «Увиливает. Но не из трусости, чувствую, а из неспособности распространяться на эту тему. Я подходил с разных концов – результат один. Подпускает до определенного предела, а потом замыкается. Уходит в скорлупу. Да – нет, нет – да. Не допрос, а детская считалочка». – «Ты видел погибшую девочку?» – «На фотографии. Симпатичной не назовешь: милая, добрая мордашка...» – «Черт знает что! Вы уверены, что он ее замочил?» – «Нет, не уверены. Я, во всяком случае. Понимаешь, – я взял Эндрю за ворот рубашки, – я боюсь не неизведанности. Рано или поздно истина все равно всплывет. Боюсь другого: что слишком отклонюсь в сторону, слишком уйду в его переживания». – «У тебя есть задатки». – «Находишь?» – «Еще бы! Я в Оксфорде замечал в тебе склонность к самокопанию. А теперь это стало профессиональным. Я потому и посоветовал идти в полицию. Верно: самосожжение! Но иначе бы ты не реализовал себя». – «Вот спасибо за услугу! Merci», – поклонился я. – «Noblesse oblige»², – парировал Тарский. – «Ты всех так благодетельствуешь?» – «Достойных и избранных. Прочих – нет».

«Знаю, знаю, – кивнул я – Любишь достойных. И я люблю». – «А твой кролик сего не знает – и молчит, ибо не хочет быть скушанным преждевременно». – «Преждевременно! – усмехнулся я. – Часом раньше, часом позже. Какая разница?» – «Разница, cher ami, такая, как между театром и анатомическим театром. В первый ты можешь попасть по собственному желанию и в любое время; во второй – в принципе тоже по желанию, но лишь после определенного и не зависящего от тебя события». – «Это – действующим лицом, – возразил я. – Зрителем можно отправиться туда хоть сегодня». – «Тебе очень хочется? Считаю, что ты уже оттуда. Распластал на кровати кролика и вытягиваешь из него сведения, как жилы. Приятное зрелище! Ну как же: профессор должен оценку поставить в виде звездочки на погоны». «Хватит! – оборвал я Тарского, но без злобы, с привычкой к его репликам. – Ты неисправим, все на одну тему». – «Ош-шибаетесь, mon cher. Не на одну и не со всеми. С каждым о своем. В Париже...» – «А куда подевались твои тамошние друзья?» – «Бог их знает. Разве сторож я брату моему? Исчезли. Растворились в парижском рассвете. Может, вообще переродились и перековались. Это и с сильными бывает. Даже чаще: нужна встряска. Думаешь, такие вещи, как Уотергейт, выросли из политики? Вздор! Они выросли из психологии. У сильного, волевого мужчины временами появляется потребность – суцая эйфория – рвать на себя рубаху, бить кулаком в грудь и кричать: “Подлый я, подлый!” И вдавливать в ребра нателный крест. А утром, когда приступ кончится, пинками разогнать толпу, перед которой намедни валялся в грязи, принять душ, побриться, ущипнуть красотку и пойти по делам. Что сие значит? Ничего! Приятность самобичевания! У крупных людей и у крупных наций. Вот тебе и мазохистские корни всех Уотергейтов, всех мятежей, всех революций».

«Та-ак, – еще раз передвинул я портфель с места на место, – ты сегодня в ударе. Но мне, Эндрю, эти корни надоели в корне. Мне хочется понять...» – «Что понять?» – «Как мог больной, слабый, пугливый человек стать источником страданий, смерти другого человека, связав-

² Благородство обязывает (франц.).

шего с ним, – быть может, из жалости, – свою судьбу? Как смел растоптать чужую жизнь?» – «А все по той же причине! – воскликнул Тарский. – Только навыворот: ходил-ходил парием, а тут вдруг новый мотор включили – он и вообразил себя суперменом. А что за сила, коли без жертвы? Сейчас же не времена Вашканского и Блайберга – тогда врачи тренировались. Теперь дело поставлено капитально – теперь лечат. Смех в трусиках: вся операция не больше часа. И такие глубокие перемены в психике: был раб, а стал господин своего здоровья! И уже самому хочется царить над кем-то. Какая все-таки паршивая штука – человек! “О люди, порожденье крокодила!”». – «Как тебя в социалистах держат?» – «Для контраста. Чтобы было с кем душе-спасительные беседы проводить. Я, впрочем, не с каждым откровенничаю». – «А-а, – раздраженно кинул я, – откуда ты можешь знать? Ты ведь его, Дика этого, в глаза не видел и двух слов с ним не сказал». – «Мне и не надо. Я сквозь стену вижу! Да, представь. И ты, ты, – погрозил он пальцем, – придешь в конце следствия к тем же выводам. Заруби себе на носу: к тем же самым, только на фактическом материале. Но потеряешь уйму времени и, – он мельком взглянул на меня, – здоровья. Тебе это дело... боком выйдет. Откажись лучше. Или возьми кого-нибудь в помощь. Катрин, например. Да, лучше всего Катрин. Плюнь на все секреты. Себе дороже. А то и потерянная минута может обернуться проведенными вхолостую годами». Мы замолчали и сидели, накапливая взаимное раздражение. Внезапно зазвонивший телефон показался мне освежающим душем. Тарский, слушавший вначале спокойно, вдруг занервничал, забегал вокруг столика: «Что за ерунду вы мелете? Какое, к черту, решение большинства? Манифестация назначена на вторник и должна пройти во вторник! Есть разрешение на использование проезжей части. Причем тут коммунисты? Откуда они знают о наших планах? Что значит единство левых сил? Важно не число, а настрой. Стоит уехать...» Я встал и, не прощаясь, заторопился к выходу, так как в речи моего друга послышались сверхнормативные шипящие. На лестнице меня догнал его возбужденный голос: «Закончишь – обязательно позвони! Сразу, не затягивай». (Это уже по-французски.) Из окна еще раз: «Позвони! Привет Катрин! Я вернусь через две недели». (Это уже во двор, на чистом английском.) То была наша последняя встреча. Так я больше не видел и не слышал его до нынешнего дня...

Никак не решу, прав я был или ошибся, не пригласив Катрин на допрос. Многое, спору нет, пошло бы иначе, совсем иначе. И, может быть, я не оказался бы здесь, не писал бы этих строк. А может, весь смысл сей странной истории и состоял в том, чтобы помочь мне узнать самого себя, а многим другим – вникнуть в необычное, полное каверз, повествование? Если так, то голос, предохранивший меня от вмешательства Катрин, был голосом свыше. Единственная загадка – насколько меня хватит, меня всего: совести человека и честности биографа? Сумею ли описать точно, как было? Смогу ли сохранить в душе образ, который, как блик, унес с последним свиданием? Может статься, через много лет я пролистаю свою повесть лишь с чувством праздного любопытства – вот, дескать, в каких переделках пришлось побывать. Может статься... Какой смысл давать зарюки? Человеческое настроение – погода, и в каждом из нас немного от оборотня...

...Катрин замирает на мгновение, словно вслушиваясь в рокот прибора, и вдруг порывисто оборачивается ко мне: «Гарри, я не хотела в ресторане, при ребенке, но есть новость. Заготовлен приказ о присвоении тебе майорского звания». Я встряхиваю головой и смотрю на нее полублагодарно-полуукоризненно – она немножко краснеет. И прижимается вплотную: «Гарри, еще не все. Только спокойно... Постарайся понять правильно... Тебя переводят в отдел статистики. Не придется больше заниматься расследованиями. Так лучше. Стенли... ну, мистер Лоттвик сказал, что на карьере это не повлияет». Я застываю с раскрытым ртом, не в силах даже закончить выдоха. Как просто, черт побери, как просто все делается! Пока я блуждал в своей моралиновой глухомани, они вдвоем нашли идеальный выход на опушку. Вот и решение всех моих мучительных проблем. Самому бы и в голову не пришло. Да, там расследо-

ваниями заниматься не придется. Единственные собеседники – отработанные дела. Прочитал – и в архив. Впрочем, и читать не нужно. Титульного листа достаточно. Подсчитать, подшить, доложить. И опять подсчитать. Вот и все... Документооборот! Значит, не хочет моей отставки, не хочет гражданского окружения. Ну, что ж, такова она, моя Катрин! Нет для нее жизни без мужа с погонами. Представляю, что она ему там наговаривает за десять телефонных минут! Какие глобальные вопросы решаются за меня и без меня. А может, так и надо? Что не делается – к лучшему. А если по существу? Неужели мечта не состоялась? Неужели вышло не так, как я хотел? Полноте! Я еще молод, мне всего тридцать семь, можно попробовать все сначала. В моей энергии, моем упорстве могли не раз убедиться и те, кто имел причины в них сомневаться. Сомнения оставались за ними, а цель – за мной. Разве сейчас я слаб? Разве сегодня цель дальше, чем вчера? Она же рядом – за углом ближайшего дома. Вот и посмотрим, что истончится скорее – связующая нить или разделяющий барьер...

Хорошо живется человеку, когда нечего делать. Что Тарский – по себе знаю: мне здесь очень вольготно – сколько написано и перечитано! И впечатлений хватит на целую жизнь – сознательную и бессознательную. До самого маразма. Вокруг – одно вечное, неизблемое, от века данное. Хриплое бормотание моря, сизые низкие тучи надвигающегося шторма, перевернутые раковины рыбацких лодок, близкая стена невысокого дома, за которой без задних ног уже спит сын – мой сын. И Катрин, покорная, теплая Катрин на моих коленях... Все сие в наших руках! Возблагодарим Господа за милость Его! «Гарри, – тихонько, чуть дыша, склоняется ко мне Катрин, – ты слышишь?» – «Да, жизнь моя». – Она обхватывает меня руками за шею: «Гарри, я хочу... еще одного ребенка...»

Нет, напрасно, напрасно не взял я ее на первый допрос. Много ошибок совершил я в этом расследовании, но то была первая и главная. Плевать на формы и нормы, но если бы Катрин стояла рядом, исход дела обозначился бы иным – и для меня, и для Дика... А рассказ, между тем, плывет и плывет, хотя до конца еще сотни строк, заново изливающаяся желчь сожаления, непреходящее сознание своей причастности и своей ненужности. И удивление – удивление, что именно я, все-таки я оказался повивальной бабкой такого странного, необычного сюжета. О-о, о нем еще поговорят. От всей души, всласть! Меня забудут, а о Грайсе и его истории будут помнить. Не знаю, как с политикой, но с сенсацией явно получилось. Дошли слухи, что Биндер запустил в печать несколько отрывков из моего отчета. Об этом стало известно из случайно попавшего мне в руки опровержения профессора Вильсона в «Times». Он выступает против «полицейской клеветы», будто подобные послеоперационные явления могут повторяться и с другими пациентами. Э-э, «клевета», правда, не моя – ее в отчет подбросили позже, но можно ли с ней не согласиться? Разве медицина не воздействует на здоровье человека? Разве особенности больного никак не влияют на методы лечения? На поведение врача? На постельный режим? Все, все повторяется, господа, и все дороги ведут в Рим. А Рим – это человеческая натура. Ее кольцовка изучена и заучена за две тысячи лет, а может, и больше. Каждый из нас – отдельное звено. Потому-то коллективное (и расщепленное) «Я» – предмет всеобщего внимания. Мы жаждем познать себя самих. И это – побудительная сила мирового искусства.

Я хочу, чтобы мне верили. Ибо пишу правду. Ничего не скрываю, ничего не прячу. Богу – Богово, кесарю – кесарево. Специально веду речь от первого лица, чтобы избежать всяких полунамеков, всяких недоговоренностей. Такой метод не стесняет свободу маневра, не убивает желания высказаться. За время болезни я научился (вернее, врачи научили меня) быть открытым. Без этого не вылечиться, но без этого и не сказать о чужих страданиях. Оттого я правдив, даже натуралистичен, а повесть кое-где сбивается на исповедь. Человек, натолкнувший меня на мысль о мемуарах, прочитав их, останется довольным. Не писать я не мог, бросить на полдороги – тем паче. Между нами: это исполнение долга. Я, как новорожденный, спеленут по всем статьям, знать ничего не знаю и живу растительной жизнью, но шестое чувство

подсказывает: его нет в живых, нет среди нас. Я не участвовал в похоронах, не прощался с телом, но я знал его, знал, как никто, и не могу, не смею считать себя истинным христианином, пока не пошлю ему издалека своего прощального приветя. Невозможно вместить в сердце всю боль мира. Но об известных нам ее узловых точках мы обязаны думать. Кто-то будет скорбеть о другом. У каждого человека есть своя область смеха и плача, и в пределах сего незримого государства он призван проявлять высшие и бескорыстные свойства гражданственности. Боль может быть вне нас – тогда она вызывает сочувствие. Боль может быть в нас – тогда она вызывает страдание. Но мы должны стойко перенести ее и остаться жить для будущего...

Я – средний буржуа. Я не могу и не хочу перешагивать данных мне с детства барьеров. Я рожден в своем кругу и умру в нем. Бог с ними, с несчастными, с голодными, с безработными, с демонстрантами. Они были и будут всегда. Они побеспокоятся сами о себе. Их много, и они горды силой числа. А одиночка Дик Грайс... Он живет или жил в себе. Он не нашел ни пары, ни друзей, ни просто собеседника, и его жизнь, быть может, обретет значение и смысл только под моим пером. Да, пристрастным, но и честным. Одно лишь пугает: справлюсь ли? Иногда задумываюсь: то ли пишу? Так ли? На бумаге выходят настоящие плутарховские *lioli paralleloi*³, составленные когда-то как попытка связать две культуры – греческую и римскую. А потом, как известно, произошло смешение: победитель начал набираться духа побежденного. Так и я: победив, добившись своего, разговаривая Дика, попал под его влияние. Пишу о нем – и вижу себя. Говорю о себе – и сравниваю с ним. И ничего не могу с собой поделать. Ни в чем теперь не уверен. Правильно ли я вел следствие? Те ли задавал вопросы? Кто укажет? Свидетелей не было...

О следствии в управлении говорили не громко, но изрядно. От него многого ждали и на нем строили разные планы. Откуда пошли толки, не скажу: Биндер безмолвствовал, как рыба. Я, понятно, тоже не болтал. Но в считанные дни стало известно и о расследовании, и о его целях, и о специфике объекта. Я сразу поднялся в глазах общественности. Арнольд Райт, наш полицейский ортодокс, отозвав меня в сторону после очередной планерки, без обиняков посоветовал: «Ты только, Бланк, не давай ему зайти в дебри. Пусть отвечает строго на вопросы. Заставь его говорить то, что нужно нам. Сейчас, перед выборами, как бы стодился шумный уголовный процесс! Запустим по всем каналам телевидения. Толпа будет в экстазе».

Да, ответственность на меня легла тяжелая. Выяснять и обобщать. Обобщать и «работать на выход». Главное – скорее, скорее. Время – деньги. Удивляюсь, премьер-министр еще не осведомлялся о ходе расследования? Задача-то с прицелом: составить опус так, чтобы в его глубинах утонули детали предвыборной программы лейбористов. Спасатели выудят их лишь на другой день после выключения счетных машин. Это, так сказать, стратегическая установка. Тактика же – за мной. В нее до поры не вникают.

Я, наверное, не единственная надежда. Есть и другие опоры. Там, наверху, в кабинетах власти, все сводят воедино и подсчитывают барыш. Вообще, что касается барыша... Консерваторы всегда щедрее к нам, стражам порядка. Мое жалованье – лучший барометр партийного курса. Так что, закрыть глаза? Я не мальчик, у меня семья, жена любит одеваться, и сказать, что лишняя монета в доме помешает... В сложившейся ситуации все подыгрывает моей работоспособности: и приказ, и честолюбие, и политика, и прагматика, и, что таить, похабный, мещанский интересик: чем там кончится? Зачем он ее убил и зачем полез вскрывать могилу? Ей-Богу, велели бы сейчас спустить дело на тормозах, все равно бы не успокоился, пока не дознался до первопричины. Где уж тут думать, брать Катрин на допрос или не брать? Что я, новичок или слабохарактерный? Мне не требуются опекуны, тем паче родственные. Зачем? «Женщина в храме да не служит»...

³ Параллельные жизнеописания (греч.).

Интуиция подсказала верный ход. Я вошел с передачей, в костюме, без всякого намека на форму и формальности. И главное, на моем лице виднелась улыбка – не навязчивая, деланая, а подлинная, мягкая и теплая. Я воистину хотел сегодня контакта, с утра настроился на него и привел в соответствие с этим весь свой психологический багаж. Я любил Дика... как лиса кролика... Ну, может, чуточку больше. Но желал ему – так я полагал – только хорошего. Откликнулся ли он на мой пламенный призыв, или ему просто надоело молчать? Не знаю, но сразу заметил, что выражение его лица отличалось от обычного. С первых же слов обозначилась еле заметная связочка. Я приналег, и связочка как будто окрепла. «Давайте, Дик, – предложил я, – без китайских церемоний. Мы почти ровесники – вы даже старше на три года. К чему манерничать? У мужчин нашего возраста принято называть друг друга по имени. Я не требую от вас приятельства, но к чему все эти "мистеры", "инспекторы", к чему эти "разрешите" на каждом слове? Меня зовут Гарри. Имя вполне благозвучное, и я не возражаю, чтобы оно раздавалось и из ваших уст».

Он удивленно поднял глаза, словно видел меня в первый раз, и, пожав плечами, хмыкнул: «Если вы считаете, что так полезнее, то, пожалуйста, Гарри, нет, мистер Бланк. Позвольте мне называть вас хотя бы по фамилии». – «Конечно, конечно, – несказанно обрадовался я удаче, – как вам нравится, только не высоким штилем». Первый бутс был уже на вершине, и я лихорадочно продумывал, куда вернее поставить второй. Наконец, нашел: взял левую руку Дика и поднес к свету: «О-о, вам обещана длинная жизнь – очень длинная». Линия, пересекавшая ладонь, как раз не свидетельствовала об этом, и, чтобы скрыть святую ложь, я произнес фразу с некоторым подъемом. Дик оживился, повеселел и стал с азартом рассматривать руку. «А вы гадаете? Давно гадаете? Что еще видно по ладони?» Я схватил его запястье и в течение нескольких секунд буквально истерзал всю кисть. «Вы подниметесь на ноги... Вас ждет радость, которую доставят дети... Вы пройдете через истинное, всепоглощающее чувство». Ничего такого я не видел, но старательно передавал все, что когда-то нагадала мне подружка Катрин в один из первых вечеров нашего знакомства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.